

## Сергей Ушакин

### Надо ли реконструировать феноменологию?

*Serguei Alex. Oushakine. Address for correspondence: Department of Anthropology: 116 Aaron Burr Hall Princeton, NJ 08544-1011, USA. oushakin@princeton.edu.*

Одна из статей сборника «Практики и идентичности: гендерное устройство» незатейливо сообщает читателю, что в ней «на основании эмпирического исследования реконструируется феноменология гражданского брака». Страницей позже следует разъяснение, из которого становится ясно, что под «реконструкцией феноменологии» понимается тематический разбор проведенных интервью. Вся феноменология, иными словами, свелась к комментированному чтению. Чтению, надо признать, неплохо, но к феноменологии отношения не имеющему. Для меня «реконструкция феноменологии» – это симптом современного состояния «гендерного подхода». Хорошие навыки аналитического чтения, умение работать с вербальным и визуальным материалом, способность выстроить внятный и четкий итоговый текст зачастую могут существовать вне сколько-нибудь осознанного понимания того, зачем все это делается.

Поясню. За небольшим исключением все тексты сборника видят в качестве своей основной исследовательской *проблемы* ту или иную «реконструкцию» – от уже упомянутой «реконструкции феноменологии» до «реконструкции сценариев» сексуальности, от «реконструкции представлений» о мужественности и женственности до реконструкций «жизненных практик и “поворотных пунктов” биографий». «Темы» и «объекты» исследования берутся уже готовыми, точнее – уже сформулированными. Все, что остается сделать исследователю, – найти «определенные правила, организующие практики в конкретных социальных контекстах» (с. 72). Вопрос о том, что правил (еще) может и не быть, что установка на «организованные» практики и контексты по умолчанию отмечает все те формы поведения, которые только начали складываться (и потому еще лишены собственных правил, стилевой последовательности и нарративной логики) в рамках «сценарного подхода», возникнуть не может. В итоге «исследования правил» становятся аналогом художественных акций Марселя Дюшана: не важно, что велосипедное колесо уже изобрели, важно первым поместить его в музейный контекст. Добротные сделанные тексты не ведут к сколько-нибудь значимым прорывам – ни в понимании все тех же практик, идентичностей или устройств, ни в области методологии их исследований. В лучшем случае мы имеем дело с вопросами, условно говоря, «санитарно-просветительского» характера, предполагающего вполне однозначные, если не односложные, ответы: «Удается ли молодым девушкам, живущим в селе, поддерживать автономность своей сексуальной жизни?»; «Возможен ли *каминаут* в России?» Да-нет? Нет-да?

Мне кажется, что «поиск правил» как основной стиль и метод исследований «Практик и идентичностей» определяется именно выбором ключевого термина. «Анализ», следуя этимологии слова, предполагает разложение, расчленение, де-

композицию предмета, текста или явления, имплицитно подразумевая поиск проблемного узла там, где его не видели раньше. «Реконструкция» же занята восстановлением исходной (или предполагаемой) целостности. Синтез разрозненных частей (интервью) нередко является оправданной самоцелью. Связность дискурсивных элементов, выстраивание микросюжетов – это главная задача исследователя-реконструктора. Отсюда – тяга авторов к типологиям, сценариям и всякого рода классификациям. Русские формалисты не зря настаивали на том, что в отсутствие исходной сюжетобразующей проблемы роль организующего принципа (в бессюжетной прозе) должны играть метадискурсивные приемы: у реконструкторов «сценарий» выполняет ту же функцию, что и коробка для «опавших листьев» у Василия Розанова или хронологическая канва у историка, лишённого нарративного воображения (Шкловский 2000: 315–344). «Сценарные правила» организуют не практику. Сценарные правила – это способ организации *собранного материала*.

Важно для меня, впрочем, то, что при таком подходе собственное конструирование проблемной ситуации, собственный – уникальный – взгляд, поиск собственного исследовательского парадокса как начальный этап исследовательского проекта в планы реконструкторов не входит. Поиск проблемных узлов, формирование и даже формулирование оригинальной исследовательской *проблематики* остаются за скобками реконструкторских усилий. Отсутствие это, однако, предопределено: в проектах по реконструкции новизна и исследовательская оригинальность вряд ли уместны. Никому ведь не приходило в голову ожидать, что в процессе реконструкции храма Христа Спасителя строители выстроят «Башню Федерация». «Восстановление» – это всегда в значительной степени воспроизводство структур, придуманных кем-то другим.

Разумеется, исследовательская робость и методологический консерватизм авторов «Практик и идентичностей» разочаровывают. Феминистский компонент «гендерного подхода», его критический запал и исходный эпистемологический скепсис по поводу господствующих категорий анализа и интерпретационных практик уступили здесь место вполне понятному желанию вписаться в «академический мейнстрим». Во многом рассматриваемый сборник – закономерный итог последовательного выпаривания кофеина из кофейных зерен феминизма, который происходил в России в течение последних пятнадцати–двадцати лет. Этот отклик – не место для подробного обсуждения вопроса о том, почему бурное начало «гендерных исследований» в девяностых завершилось их консервативной нормализацией в нулевых и скоропостижным увяданием в нынешнем десятилетии.

Отмечу лишь один момент, ярко проявившийся в этой книге. Мне кажется, «гендерный подход», озвученный в книге, выглядел бы более убедительно, если бы его авторы не участвовали, осознанно или неосознанно, в теоретической и методологической подмене. Претензий было бы меньше, если бы сборник не прятал (стыдливо) ключевой объект своего исследования – *дискурсивные формации* – за такими терминами, как «практики», «идентичности» и «устройство». Ни одна статья «Практик и идентичностей» не основана на этнографическом наблюдении. Вместе с тем, ни одно исследование не проблематизирует и специфические осо-

бенности своего – *исключительно словесного!* – объекта изучения. Текст (интервью) оказывается синонимичен практике. Более того, интерпретационные методы, изначально возникшие для анализа *практик*, беспрепятственно переносятся в текстуальный анализ. Филологическая работа с текстом выдается за социологию практик повседневности или, в лучшем случае, за «микросоциологический анализ смыслов».

Сложность для меня представляет не только сам факт подмены обещанного продукта, но также и недовес с пересортицей. Дело не в том, что «филология» хуже (или лучше) «социологии». Дело в том, что предложенный тип филологии уж очень слаб: не желая воспринимать текст всерьез, авторы полностью проигнорировали тот аналитический и теоретический запас методов и концепций, который накопили исследования нарративов. Проблематика жанров высказывания, вопросы сюжетостроения индивидуальных нарративов, особенности процессов символизации опыта – все то, что так активно обсуждалось в последние три десятилетия в связи с «лингвистическим поворотом» в общественных и гуманитарных науках, не оставило никакого следа в разборах словесных конструкций авторами сборника. В итоге сложилась ситуация, во многом типичная для отечественных «гендерных исследований» в целом: не имея непосредственного (этнографического) доступа к исследуемым *практикам*, исследователи оказались не в состоянии предложить методы *социальной поэтики*, позволяющие прояснить логику *репрезентаций*, с помощью которых поведенческие практики оказались предметом речи. Дискурс – не жизнь, как настаивал Фуко; – индивид и дискурс развиваются в разных временных пластах. Смешение этих пластов, методологическая нечленораздельность исследовательской позиции в итоге и привели к ситуации, в которой неудовлетворенными остались и любители «жизни», и поклонники «дискурса». Так и не став сколько-нибудь внятной категорией практики, «гендер» не смог доказать и свою «полезность» как категория анализа.

И последнее. Я полностью согласен с Еленой Здравомысловой и Анной Темкиной, которые в своем «Ответе на критику» отметили, что сборник – это лишь начало, подступ, своеобразная «проба пера». Проба пера, я бы добавил, во многом преждевременная. Мы все в той или иной степени проходили этот период, овладевая новым академическим языком путем воспроизведения в своих студенческих работах логики, идей и терминологии своих преподавателей. Но не все из нас решались публиковать свои учебные работы, осознавая различие между «упражнениями по развитию навыков» и оригинальным исследованием...

Лет сто назад Фердинанд де Соссюр в своем «Курсе общей лингвистики» (Соссюр 1977) дал оценку школе сравнительного языкознания, которая, на мой взгляд, помогает понять то, что происходит с «гендерными исследованиями» вообще и работами, представленными в «Практиках и идентичностях» в частности. Как отмечал лингвист, «неотъемлемой заслугой» школы сравнительного языкознания явилось то, что «она подняла плодородную целину», однако ей

все же не удалось создать подлинно научную лингвистику. Она так и не попыталась выявить природу изучаемого ею предмета. А между тем, без такого предварительного анализа никакая наука не в состоянии выработать свой метод... Основной ошибкой сравнительной грамматики – ошибкой, которая в

зародыше содержала в себе все прочие ошибки – было то, что [...] представители этого направления никогда не задавались вопросом, чему же соответствовали производимые ими сопоставления, что же означили открываемые ими отношения... Этот исключительно сравнительный метод влечет за собой целую систему ошибочных взглядов, которым в действительности ничего не соответствует и которые противоречат реальным условиям существования человеческой речи вообще (Соссюр 1977: 41–42).

Мне кажется, что авторы «Практик и идентичностей» могли бы избежать зияющего отсутствия «предварительного анализа» природы изучаемого объекта, если бы вместо обнародования «дескриптивной фазы» своих синхронных исследований они ограничились бы публикацией полных транскриптов собранных интервью. Сегодняшний академический успех истории Холокоста и истории повседневности в зарубежной историографии и исследованиях культуры во многом основан на коллекциях устных историй, собранных в течение длительного периода времени (и ставших основой для анализа и интерпретаций лишь относительно недавно). В России подобных коллекций – единицы. Учитывая раннюю стадию осмысления собственного материала, о которой говорят Здравомыслова и Темкина, может, и не надо пока форсировать отстающую по времени «генерализацию»? Может, нужно просто признать ее (временную) нехватку и сконцентрироваться на том, что получается делать хорошо? И вместо попыток «реконструировать феноменологию» заняться фиксацией той самой «плодородной целины», которую удалось обнаружить, то есть формированием коллекции дискурсивных материалов (интервью) по важным и малоисследованным темам? Понятно, что дискурс – это не жизнь, но в этом случае он (дискурс) по крайней мере не будет подменой жизни. А теория с генерализацией придут позже. Когда возникнет желание, отшлифуются навыки и сформируется потребность в подобном теоретизировании.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Соссюр, Фердинанд де. 1977. *Труды по языкознанию*. М.: Прогресс.  
Шкловский, Виктор. 2000. *Гамбургский счет*. СПб.: Лимбус пресс.